

Несколько лет тому назад, осматривая собор Парижской Богородицы или, выражаясь точнее, обследуя его, автор этой книги обнаружил в темном закоулке одной из башен следующее начертанное на стене слово:

ΑΝΑΓΚΗ¹

Эти греческие буквы, потемневшие от времени и довольно глубоко врезанные в камень, некие свойственные готическому письму признаки, запечатленные в форме и расположении букв, как бы указывающие на то, что начертаны они были рукой человека средневековья, и в особенности мрачный и роковой смысл, в них заключавшийся, глубоко поразили автора.

Он спрашивал себя, он старался постигнуть, чья страждущая душа не пожелала покинуть сей мир без того, чтобы не оставить на челе древней церкви этого стигмата преступлений или несчастья.

Позже эту стену (я даже точно не припомню, какую именно) не то выскоблили, не то покрасили, и надпись исчезла. Именно так в течение вот уже двухсот лет поступают с чудесными церквями средневековья. Их увечат как угодно — и изнутри и снаружи. Священник их перекрашивает, архитектор скоблит; потом приходит народ и разрушает их.

И вот ничего не осталось ни от таинственного слова, высеченного в стене сумрачной башни собора, ни от той неведомой судьбы, которую это слово так печально обозначало, —

¹ Рок (*гр.*).

ничего, кроме хрупкого воспоминания, которое автор этой книги им посвящает. Несколько столетий тому назад исчез из числа живых человек, начертавший на стене это слово; в свою очередь исчезло со стены собора и само слово; быть может, исчезнет скоро с лица земли и сам собор.

Это слово и породило настоящую книгу.

Март 1831

КНИГА ПЕРВАЯ

І. Большая зала

Триста сорок восемь лет, шесть месяцев и девятнадцать дней тому назад парижане проснулись под перезвон всех колоколов, которые неистовствовали за тремя оградами: Сите, Университетской стороны и Города.

Между тем день 6 января 1482 года отнюдь не являлся датой, о которой могла бы хранить память история. Ничего примечательного не было в событии, которое с самого утра привело в такое движение и колокола и горожан Парижа. Это не был ни штурм пикардийцев или бургундцев, ни процессия с мощами, ни бунт школяров, ни въезд «нашего грозного властелина господина короля», ни даже достойная внимания казнь воров и воровок на виселице по приговору парижской юстиции. Это не было также столь частое в XV веке прибытие какого-либо пестро разодетого и разукрашенного плюмажами иноземного посольства. Не прошло и двух дней, как последнее из них — это были фламандские послы, уполномоченные заключить брак между дофином и Маргаритой Фландрской, — вступило в Париж, к великой досаде кардинала Бурбонского, который, из угождения королю, должен был скрепя сердце принимать неотесанную толпу фламандских бургомистров и угощать их в своем Бурбонском дворце представлением «весьма прекрасной моралите, шуточной сатиры и фарса», пока проливной дождь заливал его роскошные ковры, разостланные у входа во дворец.

Событие, которое 6 января «взволновало всю парижскую чернь», — как говорит Жан де Труа, — было двойное празднество, объединявшее с незапамятных времен праздник Крещения с праздником шутов.

В этот день на Гревской площади зажигались потешные огни, у Бракской часовни происходила церемония посадки майского деревца, в здании Дворца правосудия давалась мистерия. Об этом еще накануне возвестили при звуках труб

на всех перекрестках глашатаи господина парижского прево, разодетые в шегольские полукафтаны из лилового камлота с большими белыми крестами на груди.

Заперев двери домов и лавок, толпы горожан и горожанок с самого утра потянулись отовсюду к упомянутым местам. Одни решили отдать предпочтение потешным огням, другие — майскому дереву, третьи — мистерии. Впрочем, к чести исконного здравого смысла парижских зевак, следует признать, что большая часть толпы направилась к потешным огням, вполне уместным в это время года, другие — смотреть мистерию в хорошо защищенной от холода зале Дворца правосудия; а бедному, жалкому, еще не расцветшему майскому деревцу все любопытные единодушно предоставили зябнуть в одиночестве под январским небом, на кладбище Бракской часовни.

Народ больше всего теснился в проходах Дворца правосудия, так как было известно, что прибывшие третьего дня фламандские послы намеревались присутствовать на представлении мистерии и на избрании папы шутов, которое также должно было состояться в большой зале Дворца.

Нелегко было пробраться в этот день в большую залу, считавшуюся в то время самым обширным закрытым помещением на свете. (Правда, Соваль тогда еще не обмерил громадный зал в замке Монтаржи.) Запруженная народом площадь перед Дворцом правосудия представлялась зрителям, глядевшим на нее из окон, морем, куда пять или шесть улиц, подобно устьям рек, непрерывно извергали все новые потоки голов. Непрестанно возрастая, эти людские волны разбивались об углы домов, выступавшие то тут, то там, подобно высоким мысам в неправильном водоеме площади.

Посредине высокого готического¹ фасада Дворца правосудия находилась главная лестница, по которой безостановочно поднимался и спускался двойной поток людей; рас-

¹ Слово «готический» в том смысле, в каком его обычно употребляют, совершенно неточно, но и совершенно неприкосновенно. Мы, как и все, принимаем и усваиваем его, чтобы охарактеризовать архитектурный стиль второй половины средних веков, в основе которого лежит стрельчатый свод — преемник полукруглого свода, породившего архитектурный стиль первой половины тех же веков. — *Примеч. авт.*

коловшись ниже, на промежуточной площадке, надвое, он широкими волнами разливался по двум боковым спускам; эта главная лестница, как бы непрерывно струясь, сбегала на площадь, подобно водопаду, низвергавшемуся в озеро. Крик, смех, топот тысячи ног производили страшный шум и гам. Время от времени этот шум и гам усиливался: течение, несшее всю эту толпу к главному крыльцу, поворачивало вспять и, крутясь, образовывало водовороты. Причиной тому были либо стрелок, давший кому-нибудь тумака, либо лягавшаяся лошадь начальника городской стражи, водворявшего порядок; эта милая традиция, завещанная парижским прево коннетаблям, перешла от коннетаблей по наследству к конной страже, а от нее к нынешней жандармерии Парижа.

В дверях, в окнах, в слуховых оконцах, на крышах домов кишели тысячи благодушных, безмятежных и почтенных горожан, спокойно глазевших на Дворец, глазевших на толпу и ничего более не желавших, ибо многие парижане довольствуются зрелищем самих зрителей, и даже стена, за которой что-либо происходит, уже представляет для них предмет, достойный любопытства.

Если бы нам, живущим в 1830 году, дано было мысленно вмешаться в толпу парижан XV века и, получая со всех сторон пинки, толчки, еле удерживаясь на ногах, проникнуть вместе с ней в эту обширную залу Дворца, казавшуюся в день 6 января 1482 года такой тесной, то зрелище, представившееся нашим глазам, не лишено было бы занимательности и очарования; нас окружили бы вещи столь старинные, что они для нас были бы полны новизны.

Если читатель согласен, мы попытаемся хотя бы мысленно воссоздать то впечатление, которое он испытал бы, перешагнув вместе с нами порог этой обширной залы и очутившись среди толпы, одетой в хламиды, полукафтаныя и безрукавки.

Прежде всего мы были бы оглушены и ослеплены. Над нашими головами — двойной стрельчатый свод, отделанный деревянной резьбой, расписанный золотыми лилиями по лазурному полю; под ногами — пол, вымощенный белыми и черными мраморными плитами. В нескольких шагах от нас огромный столб, затем другой, третий — всего на протяжении залы семь таких столбов, служащих линией опоры для пяток

двойного свода. Вокруг первых четырех столбов — лавочки торговцев, сверкающие стеклянными изделиями и мишурой; вокруг трех остальных — истертые дубовые скамьи, отполированные короткими широкими штанами тяжущихся и мантиями стряпчих. Кругом залы вдоль высоких стен, между дверьми, между окнами, между столбами — нескончаемая вереница изваяний королей Франции, начиная с Фарамонда: королей нерадивых, опустивших руки и потупивших очи, королей доблестных и воинственных, смело подъяввших чело и руки к небесам. Далее, в высоких стрельчатых окнах — тысячецветные стекла; в широких дверных нишах — богатые, тончайшей резьбы двери; и все это — своды, столбы, стены, наличники окон, панели, двери, изваяния — сверху донизу покрыто великолепной голубой с золотом раскраской, успевшей к тому времени уже слегка потускнеть и почти совсем исчезнувшей под слоем пыли и паутины в 1549 году, когда Дю Брель по традиции все еще восхищался ею.

Теперь вообразите себе эту громадную продолговатую залу, освещенную сумеречным светом январского дня, наводненную пестрой и шумной толпой, которая плывет по течению вдоль стен и вертится вокруг семи столбов, и вы уже получите смутное представление обо всей той картине, любопытные подробности которой мы попытаемся обрисовать точнее.

Несомненно, если бы Равальяк не убил Генриха IV, не было бы и документов о деле Равальяка, хранившихся в канцелярии Дворца правосудия; не было бы и сообщников Равальяка, заинтересованных в исчезновении этих документов; значит, не было бы и поджигателей, которым, за неимением лучшего средства, пришлось сжечь канцелярию, чтобы сжечь документы, и сжечь Дворец правосудия, чтобы сжечь канцелярию; следовательно, не было бы и пожара 1618 года. Все еще высился бы старинный Дворец с его старинной залой, и я мог бы сказать читателю: «Пойдите, полюбуйтесь на нее»; мы, таким образом, были бы избавлены: я — от описания этой залы, а читатель — от чтения сего посредственного описания. Это подтверждает новую истину, что последствия великих событий неисчислимы.

Весьма возможно, впрочем, что у Равальяка никаких сообщников не было, а если, случайно, они у него и оказались,

то могли быть совершенно непричастны к пожару 1618 года. Существуют еще два других весьма правдоподобных объяснения. Во-первых, огромная пылающая звезда, шириною в фут, длиною в локоть, свалившаяся, как всем известно, с неба 7 марта после полуночи на крышу Дворца правосудия; во-вторых, четверостишие Теофиля:

Да, шутка скверная была,
Когда сама богиня Права,
Съев пряных кушаний немало,
Себе все небо обожгла¹.

Но, как бы ни думать об этом тройном — политическом, метеорологическом и поэтическом — толковании, прискорбный факт пожара остается несомненным. По милости этой катастрофы, в особенности же по милости всевозможных последовательных реставраций, уничтоживших то, что пощадило пламя, немного уцелело ныне от этой первой обители королей Франции, от этого Дворца, более древнего, чем Лувр, настолько древнего уже в царствование короля Филиппа Красивого, что в нем искали следов великолепных построек, воздвигнутых королем Робером и описанных Эльгальдусом.

Исчезло почти все. Что случилось с кабинетом, в котором Людовик Святой «завершил свой брак»? Где тот сад, в котором он, «одетый в камлотовую тунику, грубого сукна безрукавку и плащ, свисавший до черных сандалий», возлежал вместе с Жуанвилем на коврах, вершил правосудие? Где покои императора Сигизмунда? Карла IV? Иоанна Безземельного? Где то крыльцо, с которого Карл VI провозгласил свой милостивый эдикт? Где та плита, на которой Марсель в присутствии дофина зарезал Робера Клермонского и маршала Шампанского? Где та калитка, возле которой были изорваны буллы антипапы Бенедикта и откуда, облаченные на посмешище в ризы и митры и принужденные публично каяться на всех перекрестках Парижа, выехали обратно те, кто привез эти буллы? Где большая зала, ее позолота, ее лазурь, ее стрельчатые арки, статуи, каменные столбы, ее необъятный свод, весь в скульптурных украшениях? А вызолоченный покой, у входа в который стоял коленопреклоненный каменный лев с опу-

¹ Игра слов: *épice* по-французски — и «пряности», и «взятка»; *palais* — и «небо», и «дворец».

щенной головой и поджатым хвостом, подобно львам Соломонова трона, в позе смирения, как то приличествует грубой силе перед лицом правосудия? Где великолепные двери, великолепные высокие окна? Где все чеканные работы, при виде которых опускались руки у Бискорнета? Где тончайшая резьба дю Ганси?.. Что сделало время, что сделали люди со всеми этими чудесами? Что получили мы взамен всего этого, взамен этой истории галлов, взамен этого искусства готики? Тяжелые полукруглые низкие своды господина де Броса, сего неуклюжего строителя портала Сен-Жерве, — это взамен искусства; что же касается истории, то у нас сохранились лишь многословные воспоминания о центральном столбе, которые еще доныне отдаются эхом в болтовне всевозможных господ Патрю.

Но все это не так уж важно. Обратимся к подлинной зале подлинного древнего Дворца.

Один конец этого гигантского параллелограмма был занят знаменитым мраморным столом такой длины, ширины и толщины, что если верить старинным описям, стиль которых мог возбудить аппетит у Гаргантюа, «подобного ломтя мрамора никогда не было видано на свете»; противоположный конец занимала часовня, где стояла изваянная по приказанию Людовика XI статуя, изображающая его коленопреклоненным перед Пречистой Девой, и куда он, невзирая на то что две ниши в ряду королевских изваяний остаются пустыми, приказал перенести статуи Карла Великого и Людовика Святого — двух святых, которые в качестве королей Франции, по его мнению, имели большое влияние на небесах. Эта часовня, еще новая, построенная всего только лет шесть тому назад, была создана в изысканном вкусе того очаровательного, с великолепной скульптурой и тонкими чеканными работами зодчества, которое отмечает у нас конец готической эры и удерживается вплоть до середины XVI века в волшебных архитектурных фантазиях Возрождения.

Небольшая сквозная розетка, вделанная над порталом, по филигранности и изяществу работы представляла собой настоящий образец искусства. Она казалась кружевной звездой.

Посреди залы, напротив главных дверей, было устроено прилежавшее к стене возвышение, обтянутое золотой парчой, с отдельным входом через окно, пробитое в этой стене из ко-

ридора, смежного с вызолоченным покоем. Предназначалось оно для фламандских послов и для других знатных особ, приглашенных на представление мистерии.

По издавна установившейся традиции представление мистерии должно было состояться на знаменитом мраморном столе. С самого утра он уже был для этого приготовлен. На его великолепной мраморной плите, вдоль и поперек исцарапанной каблуками судейских писцов, стояла довольно высокая деревянная клетка, верхняя плоскость которой, доступная взорам всего зрительного зала, должна была служить сценой, а внутренняя часть, задрапированная коврами, — одеваальной для лицедеев. Бесхитроно приставленная снаружи лестница должна была соединять сцену с одеваальной и предоставлять свои круглые ступеньки и для выхода актеров на сцену, и для ухода их за кулисы. Таким образом, любое неожиданное появление актера, перипетии действия, сценические эффекты — ничто не могло миновать этой лестницы. О невинное и достойное уважения детство искусства и механики!

Четыре судебных пристава Дворца, неперенные надзиратели за всеми народными увеселениями как в дни празднеств, так и в дни казней, стояли на карауле по четырем углам мраморного стола.

Представление мистерии должно было начаться только в полдень, с двенадцатым ударом больших стенных дворцовых часов. Несомненно, для театрального представления это было несколько позднее время, но оно было удобно для послов.

Тем не менее вся многочисленная толпа народа дождалась представления с самого утра. Добрая половина этих простодушных зевак с рассвета дрогла перед большим крыльцом Дворца; иные даже утверждали, будто они провели всю ночь, лежа поперек главного входа, чтобы первыми попасть в залу. Толпа росла непрерывно и, подобно водам, выступающим из берегов, постепенно вздымалась вдоль стен, вздувалась вокруг столбов, заливала карнизы, подоконники, все архитектурные выступы, все выпуклости скульптурных украшений. Немудрено, что давка, нетерпение, скука в этот день, дающий волю зубоскальству и озорству, возникающие по всякому пустяку ссоры, будь то соседство слишком острого локтя или подбитого гвоздями башмака, усталость

от долгого ожидания — все, вместе взятое, еще задолго до прибытия послов придавало ропоту этой запертой, стиснутой, сдавленной, задыхающейся толпы едкий и горький привкус. Только и слышно было, что проклятия и сетования по адресу фламандцев, купеческого старшины, кардинала Бурбонского, главного судьи Дворца, Маргариты Австрийской, стражи с плетями, стужи, жары, скверной погоды, епископа Парижского, папы шутов, каменных столбов, статуй, этой закрытой двери, того открытого окна — и все это к несказанной потехе рассеянных в толпе школяров и слуг, которые подзадоривали общее недовольство своими острыми словечками и шуточками, еще больше возбуждая этими булавочными уколами общее недовольство. Среди них отличалась группа веселых сорванцов, которые, выдавив предварительно стекла в окне, бесстрашно расселись на карнизе и оттуда бросали свои лукавые взгляды и замечания попеременно то в толпу, находящуюся в зале, то в толпу на площади. Судя по тому, как они передразнивали окружающих, по их оглушительному хохоту, по насмешливым окликам, которыми они обменивались с товарищами через всю залу, видно было, что эти школяры далеко не разделяли скуки и усталости остальной части публики, превращая для собственного удовольствия все, что попадалось им на глаза, в зрелище, помогавшее им терпеливо переносить ожидание.

— Клянусь душой, это вы там, *Жоаннес Фролло де Молендино!* — кричал один из них другому, белокурому бесенку с хорошенькой лукавой рожцей, примостившемуся на акантах капители. — Недаром вам дали прозвище Жеан Мельник, ваши руки и ноги и впрямь ходят на четыре крыла ветряной мельницы. Давно вы здесь?

— По милости дьявола, — ответил Жоаннес Фролло, — я торчу здесь уже больше четырех часов, надеюсь, они зачтутся мне в чистилище! Еще в семь утра я слышал, как во семь певчих короля сицилийского пропели у ранней обедни в Сент-Шапель «Достойную».

— Прекрасные певчие! — ответил собеседник. — Голоса у них тоньше, чем острие их колпаков. Однако перед тем как служить обедню господину святому Иоанну, королю следовало бы осведомиться, приятно ли господину Иоанну слушать эту гнусавую латынь с провансальским акцентом.

— Он заказал обедню, чтобы дать заработать этим проклятым певчим сицилийского короля! — злобно крикнула какая-то старуха из теснившейся под окнами толпы. — Скажите на милость! Тысячу парижских ливров за одну обедню! Да еще из налога за право продавать морскую рыбу в Париже!

— Помолчи, старуха! — вмешался какой-то важный толстяк, все время зажимавший себе нос из-за близкого соседства с рыбной торговкой. — Обедню надо было отслужить. Или вы хотите, чтобы король опять захворал?

— Ловко сказано, господин Жиль Лекорню¹, придворный меховщик! — крикнул ухватившийся за капитель маленький школяр.

Оглушительный взрыв хохота приветствовал злополучное имя придворного меховщика.

— Лекорню! Жиль Лекорню! — кричали одни.

— *Cornutus et hirsutus!*² — вторили другие.

— Чего это они гогочут? — продолжал маленький чертенок, примостившийся на капители. — Ну да, почтеннейший Жиль Лекорню, брат Жеана Лекорню, дворцового судьи, сын мэтра Майе Лекорню, главного смотрителя Венсенского леса; все они граждане Парижа и все до единого женаты.

Толпа совсем развеселилась. Толстый меховщик молча пытался ускользнуть от устремленных на него со всех сторон взглядов, но тщетно он пыхтел и потел. Как загоняемый в дерево клин, он, силясь выбраться из толпы, достигал лишь того, что его широкое, апоплексическое, побагровевшее от досады и гнева лицо только плотнее втискивалось между плеч соседей.

Наконец один из них, такой же важный, коренастый и толстый, пришел ему на выручку:

— Какая мерзость! Как смеют школяры так издеваться над почтенным горожанином? В мое время их за это отстегали бы прутьями, а потом сожгли бы на костре из этих самых прутьев.

Банда школяров расхохоталась.

— Эй! Кто это там ухает? Какой зловещий филин?

— Стой-ка, я его знаю, — сказал один, — это мэтр Андри Мюнье.

¹ *Le cornu* — рогатый (*фр.*).

² Рогатый и косматый! (*лат.*)